

ВИКТОР БУРЛАЧУК,

доктор социологических наук, ведущий научный сотрудник отдела истории, теории и методологии социологии Института социологии НАН Украины

Образ власти в современных теориях глобализации

Abstract

In history, the fates of the power and of the state are inextricably intertwined. Therefore the changes of the power's forms in modern global society have an effect on transformations of sovereignty of the modern state.

As a result of globalization the monocentric structure of power of the states vying with each other is replaced by polycentric distributing of power, in which a great number of transnational and national organizations and enterprises are either competing or co-operating.

According to post-modernist and neo-globalist theorists the power can not be identified with a certain center. So the power takes on an image of the network power.

However it cannot be hastily said, that the destruction of national state sovereignty has already happened. Globalization strikes down the identification of homogeneous, self-exclusive and self-contained area of the national state which policy rests upon the barrack-like force of regular army, law enforcement force, state penitentiary, and monopolization of the means of legitimate violence.

The economy development is out of the national state control, whereas social consequences of these processes — such as unemployment, migration, and poverty — are amassing with in the system of the national social state.

The globalization results in denationalization and transformation of national state into transnational state.

Судьба власти и судьба государства в истории переплетены между собой. Поэтому изменения форм власти в современном глобальном обществе отражаются в трансформациях суверенитета современного государства.

Данное исследование власти осуществляется с позиций национально-государственного суверенитета, его возникновения, реформации и кризиса. Такой аспект анализа, когда власть рассматривается не в ее многообразных влияниях на индивида и общество, а в цепи взаимоотношений с другими государ-

ствами, предложен самим процессом глобализации, когда суверенитет современных национальных государств все время ставится под сомнение.

Поэтому распространенной точкой зрения современных исследователей стало представление, что суверенитет национальных государств в эпоху глобализации потерял свои отличительные свойства и принял форму, образованную из ряда национальных и наднациональных органов.

Основание современных отношений власти

Отношения власти во многом определяются теми процессами, которые протекают в современном производстве и средствах коммуникации. Исторически капитализм и рынок определяют главные условия, которые участвовали при образовании новоевропейского суверенитета, и их дальнейшие изменения существенно отразились на современных формах организации власти.

Благодаря рыночным отношениям, сформировалось базовое понятие для определения суверенитета периода ранних национальных государств — всеобщая воля, основанием которой являются рыночные отношения, где каждая из сторон преследует свой интерес, а в результате достигается образующий универсальную социальную власть общественный интерес. Рынок выполняет опосредующую роль, в результате чего возникает общественная польза, заключенная в понятии меновой стоимости.

Эта конституирующая роль рынка при образовании национального государства в связи с появлением новых средств коммуникации и финансовых инструментов стала существенно изменяться, что привело к существенным трансформациям национально-государственного суверенитета. Национальное государство давно перестало непосредственно контролировать процессы перемещения рабочей силы, формирование новых рынков, управление инвестициями, финансовыми и кредитно-денежными потоками.

“Суверенные государства способны извлекать прибыль из экономики лишь до тех пор, пока дело идет о “народных хозяйствах”, на которые они могут влиять политическими средствами. Но с денационализацией хозяйства, в частности с глобальным интегрированием финансовых рынков и самого промышленного производства, национальная политика теряет господство над всеобщими условиями производства и тем самым — рычаги для поддержания достигнутого социального стандарта” [Хабермас, 2001: с. 291].

Если экономические связи и отношения выходят за рамки определенной территории и связанного с ней суверенитета национального государства, то возникает вопрос о субъекте этих связей и отношений, о том, кто управляет этими транснациональными экономическими и финансовыми потоками.

Таким субъектом выступают транснациональные фирмы и частные банки, пользующиеся международным влиянием и подрывающие формально признаваемый национально-государственный суверенитет. Сегодня каждая из тридцати крупнейших, работающих в мировом масштабе фирм, взятая в отдельности, производит годовой оборот, больший, чем соответственно совокупный общественный продукт девяноста представленных в ООН стран.

Появление нового субъекта экономических связей и отношений можно увидеть в изменении места национального капитала в системе экономических отношений. Если сначала национальный капитал существует в рамках национального государства, то в ходе процесса глобализации начинают кардинально меняться отношения между национальным капиталом и его местом

происхождения. “Вначале капитализм существует в рамках национального государства и сопровождается международной торговлей (обмен между суверенными национальными государствами); затем наступают отношения колонизации, когда колонизирующая страна подчиняет и эксплуатирует (экономически, культурно, политически) колонизованную страну; финальная точка этого процесса, когда есть только колония и нет никаких стран – колонизаторов — колонизатором теперь является не национальное государство, а сама глобальная компания” [Жижек, 2004: с. 109]. Тем самым понятие национального капитала превращается в своеобразный оксюморон.

“Глобальная компания как бы перерезает пуповину, связывающую ее со своей матерью — нацией, и относится к стране своего происхождения как еще к одной территории, которую нужно колонизировать” [Жижек, 2004: с. 108].

Власть и могущество транснациональных предприятий заключается в способности экспорта рабочих мест в страны с дешевой рабочей силой и низкими налогами, в умении рассредоточивать производство продуктов и оказание услуг в разных местах мира, манипулировать политикой национальных государств для получения мест с самыми низкими налогами и самой благоприятной инфраструктурой, “наказывать” национальные государства, “враждебно” относящиеся к инвестициям; они могут самостоятельно определять место для инвестиций, для производства, для уплаты налогов и для жительства и противопоставлять их друг другу.

На изменение классической модели рынка оказал влияние переход от индустриальной к информационной экономике, который сопровождался резкой децентрализацией современного производства.

Если раньше эффективность промышленного производства зависела от способа организации производственного капитала, близости сырьевой базы, заводов-производителей и потребителей сырья, смежных производств, то информатизация промышленности и растущее преобладание сферы услуг сделали подобную концентрацию производства более не нужной.

В некоторых секторах экономики исчезает само производственное помещение как главное условие промышленного производства. “В процессе перехода к информационной экономике конвейер был заменен *сетью* как организационной моделью производства, преобразующей формы кооперации и коммуникации как на каждом конкретном предприятии, так и между ними” [Хард, 2004: с. 276].

Транснациональное предприятие, организованное по принципу сети, становится моделью поведения, которая, как мы увидим, охватывает не только промышленные, но и политические процессы, формы политической специализации.

Покоящийся на контроле национального рынка, суверенитет классического государства также характеризовался ограниченностью коммуникации. Особенно непроницаемыми для нее были верхние этажи власти тоталитарных государств. Современная коммуникация уравнивает и делает прозрачными различные этажи власти. Она размывает те барьеры и загородки, которыми власть пытается отгородиться от общества. Средства массовой информации выбивают из рук власти такой важный инструмент господства и управления, как тайна. Вспомним “Легенду о Великом инквизиторе” Ф. Достоевского, в которой обозначены основные принципы доминирования: вера, тайна и авторитет. Тайна, будь она религиозной или государственной, выступает как особый вид знания. Она предполагает доступ для ее хранителей жре-

цов и вождей к некоей трансцендентной сфере, которая отделяет управляющих от управляемых, знатоков — от профанов, посвященных — от неофитов.

Транслируя смыслы, коммуникация также управляет сферой воображаемого, пронизывающей эти коммуникативные связи. Понимание того, что сама коммуникация не только транслирует смыслы, но и управляет их созданием, принадлежит к одному из открытий Маршалла Маклюэна. То, как передается информация, например, в какой последовательности идут информационные блоки, определяет процесс понимания.

В традиционном обществе сфера воображения, пронизывающая смыслы коммуникации, связана с дискурсом трансцендентного (Бог, бессмертие, душа), коммуникативная логика исчерпывается словом божественного откровения. В постсовременном мире трансляция смыслов осуществляется посредством “образов—угроз”: экологический кризис, угрозы ядерной катастрофы, столкновения с метеоритом, войны, терроризма. Они репрезентируются современной киноиндустрией как некая реальность, что демонстрирует процесс превращения трансцендентного в имманентное. Мы теряемся в поиске различий между репрезентациями и реальностью, переживая процесс замещения реальности репрезентацией. Показанный по телевидению взрыв башен-близнецов в Северной Америке первоначально воспринимался как кадры из очередного голливудского боевика. Воображение, структурируемое современным уровнем коммуникации при помощи “образов-угроз”, создает собственную реальность. Если для средневекового общества ответом на вселенские угрозы выступала церковь как место спасения, то для современного общества — это Шпицбергенский международный банк семян, созданный норвежцами в 2007 году, оборудованный глубоко под землей в покрытых льдами скалах, или принятое Космическим университетом Страсбурга в 2008 году решение построить к 2020 году на Луне экспериментальный бункер — хранилище генетических данных всего живого на Земле.

Насыщенность коммуникации репрезентациями-угрозами создает особую питательную среду для выращивания бацилл власти. Вся власть христианской церкви, если не вся власть вообще в эпоху Средневековья, построена на манипулировании энергией трансценденции (смертные муки Христа, угрозы ада и страдания бессмертной души).

Всеохватывающая сеть рынка, репрезентирующая современную власть, направляет энергию трансцендентного в структуры повседневного мира, насыщенного искаженными смыслами трансцендентного: образы совершенства и всемогущества имплантируются в мир потребления и его структуры: лучший шоколад, лучшее средство от перхоти, лучшее лекарство.

В компьютерных играх эксплуатация сферы воображаемого достигает своего предела, окончательно стирая различие между образом и реальностью.

Истоки социального порядка обозначены не только наличием власти, но и деятельностью воображения, озабоченного трансцендентным. Не следует эмпирически полагать, что социальный порядок ограничивается законом и суверенной властью. По мысли З.Баумана, он держится на манипулировании стремлением к трансцендентности. “Любой вид социального порядка может быть представлен как сеть каналов поиска жизненных смыслов и передачи открытых формул. Энергия трансцендентности поддерживает ту оживленную деятельность, которая и называется “социальным порядком”; она делает его как нужным, так и достижимым” [Бауман, 2002: с. 5]. В этой загадочной

фразе Баумана речь идет о легитимации социального порядка, которая и делает его и нужным, и достижимым.

Для коммуникативных связей модерна существенно различие роли сигнификанта, сигнификата и референта. Современная ситуация, наоборот, придает этим отличиям признак проблематичности, и особенно это касается статуса сигнификанта и референта, репрезентации и реальности. Сигнификация все больше осуществляется с помощью визуальных образов, а не слов. Это и есть дедифференциация, считает С.Лэш, в которой образы связаны с референтами сильнее, чем слова. Соответственно, все большая часть референтов становится сигнификантами. Это проявляется в том, что наша повседневная жизнь пронизана реальностью образов, которые несут в себе телевидение, реклама, видео, компьютеризация, плееры, кассетные магнитофоны. Все это становится составляющими репрезентации.

Постмодернистская дедифференциация принесла хаос, прозрачность и нестабильность в наше восприятие самой реальности.

Местопребывание власти. Подвижность центра и периферии

Осуществление власти предполагает наличие определенного центра, точки в пространстве, откуда истекают властные полномочия. Этот центр особым образом обозначается в пространстве посредством определенных меток: замок, дворец, резиденция, полковой шатер, президентский штандарт. Место власти — не просто пространство, занимаемое лицами, получившими мандат на господство. Оно обладает — для находящихся в нем — своеобразной оптикой, обеспечивающей просматриваемость всех этажей социальной иерархии. Оно доминирует над остальными пространствами, подобно тому, как хищники стремятся занять главенствующую высоту, чтобы оттуда наблюдать за происходящим.

Постоянное местопребывание власти получает название столицы, города, в котором пребывает власть.

Однако не всегда власть занимала фиксированное место в пространстве. Историки, описывающие быт французских монархов XV–XVI веков, отмечают, что король со своим двором никогда больше двух недель не находился на одном месте, а все время переезжал с Севера на Юг, с Востока на Запад, из Арденн в Прованс, из Бретани в Лотарингию. Это странствие начиналось сразу после коронации и заканчивалось со смертью. В силу ограниченности коммуникации постоянство пространства власти достигается только непрерывной сменой мест пребывания власти в этом пространстве.

Появление устойчивых коммуникативных связей было подготовлено образованием национальной бюрократии, которая способствовала закреплению местоположения власти.

Если французских монархов вынуждал путешествовать недостаток коммуникации, то современные радикальные изменения в отношениях власти связаны с тем, что власть опять теряет свою пространственную репрезентацию. Это не значит, что президента лишили резиденции, а парламент — дворца. Резиденция и дворец остаются пустыми символами власти, поскольку за ними сохраняется видимость принятия решения.

Конфигурация власти в виде центра и периферии преобразуется в сеть, сотканную из непрерывных коммуникативных потоков различной интен-

сивности между различными международными финансовыми и политическими институтами.

Размывание определенного места власти под воздействием глобализации требует новых форм организации контроля за территорией. Ведь власть не только устанавливает определенный порядок, но и распространяет его на определенную территорию. Она всегда конституировала себя в отношении к территории, которую подчиняла определенному порядку (закону). Однако единство закона и территории подвергается коррозии, образованной внедрением элементов мирового рынка. Внутри национального пространства, как бы в ином измерении, располагаются финансовые и экономические институты, выходящие за границы национального пространства. Традиционно из фиксированного местоположения власти выростала идея иерархии, предполагающая членение социального пространства, распределение властных полномочий в зависимости от того, на каком “расстоянии” от источника власти располагается тот или иной институт. Возникает вопрос: как возможна иерархия в отсутствии строго фиксированного центра?

З.Бауман полагает, что современная иерархия зависит от скорости перемещения в социальном пространстве. Скорость передвижения, возможность эффективно действовать независимо от расстояния, а также свобода “перемены мест”, предоставленная либо отсутствием локализованных обязательств, либо легкостью их преодоления, являются сегодня главными факторами стратификации как на глобальном, так и на местном уровне. “Скорость перемещения”, “возможность эффективно действовать независимо от расстояния”, “свобода перемены мест” — все эти определения взяты из анализа перемещения современных финансовых потоков в глобализированном мире, а не из привычных отношений господства. Однако именно это выступает в качестве главной модели современных отношений власти.

Итак, иерархию покоя сменила иерархия движения.

М.Хардт и А.Негри для описания новых отношений власти прибегают к старому понятию “Империя”, в которое они вкладывают новое содержание, усматривая в ней новый тип суверенитета, приходящий на смену суверенитету национального государства.

“В противоположность империализму Империя не создает территориальный центр власти и не опирается на жестко закрепленные границы или преграды. Это — децентрированный и детерриториализованный, то есть *лишенный центра и привязки к определенной территории* аппарат управления, который постепенно включает все глобальное пространство в свои открытые и расширяющиеся границы. Империя управляет смешанными, гибридными идентичностями, гибкими иерархиями и множественными обменов посредством модулирования командных сетей. Различные национальные цвета на карте мира традиционного империализма размываются и сливаются в радугу глобальной империи” [Хардт, 2004: с. 12].

Как и Бауман, Хардт и Негри видят в современных отношениях власти гибкие иерархии и смешанные идентичности. Их представление о таких иерархиях перекликается с понятием динамичной социальной стратификации, разрабатываемым в социологии П.Бурдьё.

Итак, описание иерархии как фиксированного положения в политическом пространстве предполагает власть, сформированную в рамках национально-государственного суверенитета. Современное глобализированное общество управляется с помощью подвижных стратификаций, маркируемых

посредством моды и модных стандартов. В этом контексте мода и модные стандарты выступают как факторы короткоживущих параметров порядка.

Распад государственных институтов захватывает и формы социального контроля. Нормативное регулирование более не является необходимым инструментом доминирования, норму заменяет соблазн (Бодрийяр).

Как уже отмечалось, центрированный образ власти имел свои эпистемологические основы в фордистской фабрике и в устанавливающем и поддерживающем порядок суверенном государстве.

Переход к “постфордизму” означает отказ от массового производства и потребления — это переход к экономике, основанной на информации и сфере услуг, а также сокращении рабочего класса и его дальнейшей фрагментации равно, как и на фрагментации оппозиции в децентрализованных социальных движениях.

Неоглобализм изобрел новый тип технологии власти, открыв тот факт, что социальный контроль, как главная функция власти, может осуществляться не только посредством утверждения норм и правил, но и посредством распространения определенных образцов потребления. Если рабочие пришли к принятию тех же ценностей, что и работодатели и менеджеры (потребление, индивидуализм, инструментализм), то иерархическая система власти больше не нужна для социального контроля (нормы).

“Навязывание норм и исполнение нормативных предписаний приковывает контролирующих и контролируемых друг к другу... Обе стороны... привязаны к одному месту: воспроизводство властной иерархии требовало их постоянного присутствия и конфронтации. Именно эту взаимную зависимость, эту вечную связь и сделала излишней новая технология власти, выдвинувшаяся на передний план в эру глобализации. Высшие эшелоны новой иерархии власти характеризуются, прежде всего, способностью передвигаться — стремительно и по первой необходимости, тогда как низшие уровни — неспособностью даже замедлить, не то чтобы остановить, такие движения и собственной неподвижностью. Побег и ускользание, легкость и переменчивость пришли на смену мощному и зловещему присутствию как главным приемам господства” [Бауман, 2002: с. 44].

Глобализация и порядок. Институционализация неуверенности

По мнению З.Баумана, концепция “глобализации” была создана для того, чтобы заменить прежнюю концепцию “универсализации”, когда стало ясно, что установление глобальных связей и сетей не имеет ничего общего с подразумевавшимися ею преднамеренностью и контролируемостью. Понятие глобализации описывает процессы, представляющиеся самопроизвольными, стихийными и беспорядочными, процессы, происходящие помимо людей, сидящих за пультами управления [Бауман, 2002: с. 43]. Мир предстает как сфера нестабильности, сфера изменений, лишенных определенного направления, как область экспериментирования с неопределенными последствиями, как полная противоположность представлениям о порядке.

Глобализация имеет один подлинно революционный эффект, считает Бауман, обесценивание порядка как такового.

В эпоху модерна порядок стал отождествляться с контролем и управлением. Идея порядка относится не столько к самим вещам, сколько к способам управления ими; к способности приказывать. Синонимами власти всег-

да были закон и порядок, исключавшие хаос, неопределенность, неуверенность из повседневной жизни. Закон обеспечивал преемственность различных форм социальной жизни. Наличие закона предполагает, что в обществе, как и в природе, существуют некоторые устойчивые связи и отношения, которые не дают распасться социальной жизни на изолированные фрагменты.

Апофеоз хаоса означает, что разрушение государства — базового социального института, социального института по преимуществу — дает толчок институциональному кризису, охватывающему все сферы социальной жизни. “Институционализацию неуверенности”, о которой говорят современные социологи, не следует понимать дословно, что в обществе наступила фаза анархии, когда бездействуют основные нормы и никто не соблюдает государственные законы.

Понятием “институционализация неуверенности” обозначается новый уровень беспомощности человека, однако уже не перед лицом непосредственных стихийных сил, а перед лицом тех рисков, которые порождены социальной практикой человека. Рутине, считает Бауман, вряд ли найдется место в современной системе господства, условия изменяются внезапно, попирая любые разумные представления. События, которые происходят с человеком, теряют всякую осмысленность и распадаются на ряд никак не связанных эпизодов.

Хаос перестал быть главным врагом рациональности, а ненадежность становится основным материалом для строительства глобальной властной иерархии и основным инструментом социального контроля.

“В наше время возникает новая форма власти, порывающая с традиционным методом правления на основе правил и соглашений и использующая дерегулирование в качестве своего главного рычага: “Метод властвования, основанный на институте неуверенности — это правление, базирующееся на представлениях о ненадежности бытия” (Бурдье)” [Бауман, 2002: с. LI].

Институционализация неуверенности способствует появлению новой формы общества, символом которой выступает риск. Глобализация образует новую форму общества — общество риска — и новую форму власти, в которой порядок перестает быть синонимом власти.

Конец различия внешнего и внутреннего. Конец гомогенного, закрытого, замыкающегося на себе национального государства

Деформация пространства власти приводит к переосмыслению противоположности внутреннего и внешнего как определяющего основания для различения внешней и внутренней политики. Это фундаментальное разделение, определяющее суверенитет национального государства, постепенно теряет свой смысл, поскольку в идеале у мирового рынка не существует внешнего: весь мир является его владением. Внешнее, определяющее границы национального суверенитета, перестает быть актуальным.

“Внешнее является надлежащим пространством политики, где индивид благодаря присутствию других проявляет себя в своих поступках и где он ищет признания. В процессе постмодернизации подобные публичные пространства во все большей степени приватизируются. Центром городского пейзажа становятся не открытые площади и пространства, предназначенные для встреч множества прохожих, как это было в период современности, а закрытые пространства аллей, скоростных автотрасс и закрытых сообществ” [Хардт, 2004: с. 179].

Межгосударственные институты (мировые банки, валютные фонды) вынуждают всех своих участников или зависимые от них государства устранять препятствия, способные замедлить свободное движение капиталов и ограничить свободу рынка. Условием получения финансовой помощи является выполнение рекомендаций мировых банков, принципиально ограничивающих самостоятельную политику государства. Новый мировой порядок нуждается в слабых государствах в роли “местных полицейских участков, обеспечивающих тот минимальный порядок, который необходим бизнесу, но при этом не порождающих опасений, что они могут стать эффективным препятствием на пути свободы глобальных компаний” [Бауман, 2002: с. 107].

Сетевая власть

Кажется, что использование таких понятий, как “хаос”, “неуверенность”, “неопределенность”, “риск”, для характеристики современной власти может быть легко подвергнуто критике. Мы видим, что национальные государства, несмотря на все коллизии, которые с ними происходят, вполне благополучно существуют внутри своих границ, что власть никуда не исчезла. Лидеры национальных государств активно участвуют в локальных конфликтах, куда они посылают воинские контингенты, в городах на улицах патрулируют полицейские, а тюрьмы переполнены заключенными. Тем не менее их власть ограничена и направляется определенными центрами влияния, она осуществляется внутри силового поля, определяющего границы политического взаимодействия.

Это силовое поле, в котором подобно заряженным частицам выстраивается политика национальных государств и в котором нет определенного центра, получило название *сетевой власти*. Авторы этого понятия М.Хардт и А.Негри пришли к нему в результате изучения особенностей американской демократии.

Сетевая власть утверждается в пространстве имманентной концепции суверенитета, когда суверенитет не трансцендентен, а возникает из взаимограничения различных политических институтов. Он рожден не из передачи власти и правовых полномочий, например от какого-нибудь трансцендентного источника (Бог), а из согласия самих масс, из демократического взаимодействия сил, объединенных в сети. Новый суверенитет появляется из процесса конституирования системы ограничений и равновесий, сдержек и противовесов, которая одновременно образует центральную власть и сохраняет ее в руках масс.

Анализируя особенности становления американской демократии, авторы “Империи” делают интересный вывод о ее экспансионистском характере, базирующемся на понятии сетевой власти. “В отличие от *империалистического* экспансионизма, *имперский* экспансионизм или демократический экспансионизм основан на понятии сетевой власти. Экспансионизм имманентной концепции суверенитета является включающим, а не исключаящим. Иными словами, распространяясь, этот новый суверенитет не аннексирует или уничтожает другие державы, с которыми он сталкивается, но, напротив, открывается для них, включая их в сеть” [Хардт, 2004: с. 160].

“Империя распространяет и углубляет модель сетевой власти. Прошлый суверенитет всегда был связан строго с границей, с территорией. Совре-

менный суверенитет связан с детерриториализацией, с постоянным передвижением границ” [Хардт, 2004: с. 161].

Моделью для такого понимания власти служит анализ истории становления американской государственности, которая предложила новый принцип суверенитета, отличный от европейского. Становление американской государственности было связано с понятием фронта, то есть границы, которая отделяла колонизированные европейцами земли от еще не заселенных колонистами.

“Свобода и Фронт предполагают друг друга: любая трудность, любое ограничение свободы являются препятствием, порогом, через который надо переступить” [Хардт, 2004: с. 163]. Устройство государства рассматривалось как открытый процесс — коллективное самоделание. Когда власть становится монополистической, сеть разрушается. Автор считает, что особая роль США и модель имманентного суверенитета определила мировой порядок. Наличие такого порядка подтверждает война в Персидском заливе, которая представила США единственным государством, способным отстаивать международную справедливость не как функцию собственных национальных интересов, но и во имя глобального права. “Во всех региональных конфликтах двадцатого века, от Таити до Персидского залива и от Сомали до Боснии, Соединенные Штаты призываются к вмешательству — и эти призывы являются реальными и всеобщими, а не просто уловками, призванными успокоить американскую общественность” [Хардт, 2004: с.173].

Конфигурация глобальной власти. Противоречие сети и суверена

М.Хардт и А.Негри, анализируя конфигурацию власти в глобальном мире, предлагают в качестве модели такой власти пирамидальную структуру, состоящую из трех последовательно расширяющихся ярусов, каждый из которых делится в свою очередь на несколько уровней [Хардт, 2004: с.290].

Вершину пирамиды занимает пока единственная сверхдержава, США, предпочитающая выступать совместно с другими организациями в рамках ООН.

На втором уровне первого яруса располагается несколько национальных государств, контролирующих мировую финансовую систему и процессы глобального обмена (Большая Семерка, Парижский и Лондонский клубы, Давосский экономический форум).

Второй ярус представляют сетевые структуры, созданные транснациональными корпорациями на мировом рынке и определяющие движение “технологий”, капитала, населения и т. п. Эти производственные структуры, формирующие и питающие рынки, пронизывают весь мир благодаря защите и гарантиям со стороны центральной власти и составляют первый уровень глобальной власти.

На втором ярусе, на уровне, часто подчиненном власти транснациональных корпораций, располагается основная масса суверенных национальных государств, объединенных в региональные организации по территориальному признаку. Национальные государства контролируют и регулируют перемещение богатств к центру мировой власти и в обратном направлении, а также насаждают дисциплину среди собственного населения.

Третий ярус — группы, представляющие интересы населения в системе мировой власти. К ним относятся и неправительственные организации, и малые зависимые государства.

По мнению авторов, современная империя имеет гибридную форму, в ней нет одного обособленного центра, подобного Древнему Риму. Однако такое утверждение, на мой взгляд, противоречит пирамидальной структуре распределения власти, которую венчают США. Трудно отказаться от понятия центра при определении власти; так и авторы, развивающие концепцию сетевой власти, в то же время предлагают конфигурацию мировой власти с определенным центром в лице США.

Дополнением понятия сети как определения формы современной власти служит биологическое понятие ризомы, разветвленной корневой системы, которая лишена центра и которую можно представить как универсальную сеть коммуникаций, где все точки или узлы связаны между собой. Определение сети носит диалектический характер, она представляется одновременно и совершенно открытой и совершенно закрытой, она допускает, чтобы были представлены всевозможные составляющие цепи взаимоотношений, а с другой стороны, сама выступает как а-локальность.

Свою власть Империя осуществляет, используя административную и командную системы. Административный аппарат скорее похож на власть отдельных национальных государств, и ему командный аппарат доверяет управление на микрополитическом уровне. Командный аппарат, посредством ядерного оружия, финансовых и коммуникативных сетей обеспечивает равновесие глобальной системы.

Концентрация в руках Империи ядерных технологий лишила большинство стран возможности самостоятельно решать вопросы войны и мира, одного из главных элементов традиционной концепции суверенитета. “Более того, устрашающая сила ядерной бомбы, находящейся в руках Империи, свела военное противоборство к уровню ограниченного конфликта, гражданской войны и т.д. Она передала любой военной конфликт в исключительную компетенцию административной и полицейской власти. Ни в одном другом измерении переход от современности к постсовременности и от суверенитета государства эпохи современности к Империи не представляется столь очевидным, как с точки зрения роли ядерного оружия” [Хардт, 2004: с.321].

Справедливая война

Если развитие ядерных технологий лишило большинство стран права самостоятельно решать вопросы войны и мира, то любой факт ведения боевых действий требует особой формы легитимации. Однако часто новые понятия оказываются восстанавливающими уже отжившие понятия и представления. Так, утверждение нового мирового порядка привело к реабилитации понятий, которые современное международное право, казалось, оставило в прошлом.

Потребность в легитимации конфликтов в глобальном обществе привело к реабилитации понятия *bellum justum* (справедливой войны), отброшенное XX веком, поскольку оно вводит войну в сферу этики.

Здесь следует напомнить о критике Ю.Хабермасом позиций К.Шмитта по поводу использования категорий морали в сфере международных отношений.

Немецкий юрист К.Шмитт тоже выступал против использования категорий морали для анализа международных отношений. Он на протяжении всей своей жизни защищал так называемое “недискриминирующее определение войны”. Классическое международное право, согласно Шмитту, рассматривало практику войны как не требующую последующего правового обоснования, как легитимное средство разрешения правовых конфликтов. Тем самым была создана предпосылка для придания военным столкновениям цивилизованного характера. Однако осуждение агрессивной войны как криминальной (это закреплено в Версальском договоре) превращало любую войну в преступление, лишало это явление четких контуров. Противник, подвергшийся моральному осуждению, превращается в мерзкого врага, которого следует уничтожить. Если морализируя стороны теряют взаимное уважение — *justus hostis*, то локальные войны вырождаются в войны тотальные. Хабермас согласен с К.Шмиттом в том отношении, что нельзя морализировать войну, однако категорически возражал против понимания войны как легитимного средства разрешения правовых конфликтов.

Справедливость между нациями может быть достигнута не на путях морализации, считает Хабермас, а только благодаря правовому оформлению международных отношений.

Однако с точки зрения авторов “Империи”, согласно логике сетевой власти справедливая война становится деятельностью, оправданной сама по себе. Такая позиция находит поддержку в трудах Джона Ролза, который полагает, что демократии могут вести “справедливые войны” против преступных государств — *unlawful states* [Ролз, 1995].

Хабермас полагает, что демократическое государство не имеет права по собственному усмотрению принимать решение о начале войны против деспотического государства, опасного для дела мира или криминального государства. Он полагает, что “защита целостности жизненных форм и привычного этоса организованной в государство общности, если дело не идет о геноциде и преступлениях против человечности, имеет преимущественное право перед осуществлением абстрактных принципов справедливости в масштабах всего мира” [Хабермас, 2008; с. 92].

После Второй мировой войны организацию ООН наделили правом проводить миротворческие операции и акции принуждения. Утверждение устава ООН означало начало процесса конституциализации международного права. “С этого момента больше нет войн справедливых и несправедливых, есть только законные и незаконные, то есть войны, оправдываемые и неоправдываемые международным правом” [Хабермас, 2008: с. 92].

Однако система международных отношений развивается не в соответствии с идеями Хабермаса, а в соответствии с логикой его оппонентов.

Радикальный обвал системы международного права вызвала деятельность правительства Дж.Буша, игнорирующая действующие правовые предпосылки для применения военной силы.

Для США международное право как среда для решения международных конфликтов, для осуществления демократии и прав человека перестало иметь значение. Они заменяют предписанные юридические нормы поведения собственными нормативными обоснованиями. В своей международной политике США подпадают под влияние ложного универсализма империй прошлого, когда в вопросах международной справедливости заменяют позитивное право моралью и этикой. С точки зрения Дж.Буша, “наши” цен-

ности имеют значение универсальных, действительных ценностей, которые должны быть восприняты другими нациями ради их собственного блага.

Империя, суверенитет и чрезвычайное положение

Итак, применение глобальной власти, считают современные социологи, необходимо для урегулирования конфликтов, а не для получения прибылей. Поэтому правовая особенность Империи состоит в том, что она действует в ситуации чрезвычайного положения. Понятие чрезвычайного положения в рамках концепции суверенитета национального государства особенно детально рассматривал К.Шмитт, выдвинувший знаменитый принцип: суверенен тот, кто принимает решение о введении чрезвычайного положения.

В повседневной практике Империи понятия “суверенитет” и “чрезвычайное положение” меняются местами. Чрезвычайное положение не есть решение, направленное на прекращение действующей конституции, как это происходит в истории суверенного государства. Чрезвычайное положение создается самими субъектами международного права. Например, сомалийские пираты захватывают морские суда. В данном случае нет субъекта, который принимает решение о введении чрезвычайного положения, оно уже существует — как нарушение норм международного права.

Однако Харт и Негри понимают чрезвычайное положение как определенный политико-юридический акт, который предшествует самому введению чрезвычайного положения. Они пишут: “...юридическое право на применение чрезвычайного положения и возможность использования полицейских сил являются двумя изначальными координатами, определяющими имперскую модель власти” [Хардт, 2004: с. 31].

Такое понимание чрезвычайного положения опять возвращает нас к понятию субъекта как носителя суверенитета и понятию центра власти. Если согласиться, что право на применение чрезвычайного положения предшествует его введению, то мы тогда снова опираемся на понятие субъекта как носителя суверенитета.

Само же вмешательство, то есть введение чрезвычайного положения, оправдывается неотъемлемыми ценностями справедливости.

Согласно Хабермасу, вмешательство должно строиться не на наших представлениях о справедливости, а на основе права. Например, интервенция в Косово была осуществлена в соответствии с нормами международного права. Полицейские меры, применяемые в отношении других государств, которым грозит гуманитарная катастрофа, рассматриваются как право или обязанность господствующих субъектов мирового порядка. Им соответствует полная неспособность национального государства обеспечить защиту своих граждан.

Право на вмешательство основано не на праве, а опять-таки, на моральных принципах, в поддержку которых действует государство.

История суверенитета. Суверенитет национального государства

Основы современного понимания суверенитета были заложены в классическом определении Руссо, из которого следует, что соглашение между волями отдельных индивидов выражается в формировании общей воли и что эта общая воля, будучи продуктом отчужденных волей отдельных инди-

видов, образует суверенитет государства. Однако понятие демократического суверенитета у Руссо мало чем отличается от “Бога на земле” у Гоббса, от монархического суверенитета.

Основной парадокс суверенитета, который концептуально был оформлен Жаном Боденом еще во второй половине XVI века, предполагает тождество между суверенитетом и абсолютной властью.

Суверенитет пребывает над обществом, основывается на трансценденции суверена, идет ли речь об императоре, нации или государстве. Он устанавливает границы между территориями, населением, различными социальными группами.

В Европе суверенность феодального государства заключалась в том, что оно было собственностью монаршего тела. Почему собственностью тела, а не монарха? Потому что право на определенную территорию монарх получил не в результате завоеваний, отчуждения чужих земель, а благодаря праву наследования, благодаря тому, что он представляет некоторую ветвь в разросшейся кроне родословного древа. Изменение модели абсолютистского патримониального государства состояло в постепенном замещении одного тела другим, конкретное тело монарха уступило место абстрактному телу нации. То, что данное население занимает определенную территорию, его право на эту территорию обусловлено не тем, что эта территория есть часть монаршего тела, а тем, что ее занимает некая другая органическая субстанция — нация.

“Духовная идентичность нации, а не божественное тело короля теперь олицетворяла территорию и население в качестве идеальной абстракции. Вернее, реальные территории и народы теперь считались продолжением трансцендентной сущности нации. Таким образом, современное понятие нации унаследовало патримониальное тело монархического государства, придав ему новую форму” [Хардт, 2004: с. 98].

Возникает новая форма идентификации: индивид отождествляется теперь не с телом государя, а с телом нации. Рассмотренное сквозь призму монаршей телесности, понятие нации начинает овеществляться. Оно превращается в органическую субстанцию, независимую от истории и условий культуры. Если тело короля есть естественный продукт династического наследования, то предполагалось, что и национальность обладает таким естественным качеством. Считалось очевидным, что изначально, по природе люди являются представителями различных национальностей, как нельзя изменить расу, так нельзя изменить и нацию. От рождения люди принадлежат той или иной нации, это не культурный, а естественный факт. На самом деле нация — это не естественный, а культурный продукт, результат социального конституирования.

Как я уже отмечал, появление национального суверенитета связано с установлением тождества территории и населения, которое в новой форме повторяет племенные отношения.

Монарший суверенитет предполагал тождество монарха и подданного, территориальные границы подразумевались, но не были актуализированы в сознании. В монархии территория представлена аморфно, никто не знал четких границ государства, не знал того, где кончается одно государство и начинается другое. Распространенным явлением было наличие внутри одной территории владений другого собственника. Собственность монасты-

рей, монашеских орденов выпадала из сферы владения монарха. Не существовало единства территории и монаршей воли.

Окончательно государство и нация сплотились в национальное государство только после революции конца XVIII века. До этого существовал длительный период разделения этих понятий. Согласно классическому словопотреблению, у древних греков *ἔθνος* противопоставлялся *πόλις*, а у римлян “*natio*”, равно как и “*gens*” (род) противопоставлялись понятию “*civitas*” (государство). Такое противопоставление основывалось на том, что объединение людей в полис имело своей целью достижение наивысшего блага (Аристотель), недоступного другим формам человеческого объединения.

“Из ленного союза Германской империи развились сословные государства; их основу составляли договоры, в которых зависимый от налогов и военной поддержки король или император предоставлял дворянству, церкви и городам некие привилегии, т.е. право ограниченного участия в осуществлении политического господства. И эти собирающиеся в “парламентах” или “ландтагах” господствующие сословия представляли при дворе ту или иную “землю” или же как раз “нацию”. В качестве нации дворянство получило политическое существование, в котором народу как совокупности подданных было еще отказано” [Хабермас, 2008: с. 205]. С конца XVIII века происходит трансформация дворянской нации в этническую.

Это послужило катализатором для трансформации раннего государства Нового времени в демократическую республику, а принадлежность к “нации” устанавливала некую солидарную связь между людьми, бывшими до сих пор чужими друг другу [Хабермас, 2008: с. 206].

Суверенитет и дисциплинарное общество.

Кризис суверенитета — кризис социальных институтов

Национально-государственный суверенитет держался на эффективности дисциплинарной модели общества, основу которой составляли такие институты гражданского общества, как школа, семья, церковь, учреждения здравоохранения, фабрика. За последнее время под воздействием глобализации эти институты подверглись существенным изменениям, что позволило немецкому социологу У.Беку назвать их “учреждениями-зомби”, которые “мертвы и все еще живы”. Разрушение этих институтов, исчезновение гражданского общества и упадок дисциплинарного режима влечет за собой стирание различительных линий, составляющих основу национально-государственного суверенитета. На их место приходит сетевая структура общества контроля.

Установление сетевой структуры такого общества определило смену типа суверенитета в развитии европейской государственности: *произошел переход от парадигмы суверенитета к парадигме правления*, когда политическая деятельность национального государства свелась к решению чисто управленческих проблем.

“Современный политический суверенитет государств есть лишь слабая тень многогранной — политической, экономической, военной и культурной — автономии держав прошлого, создававшихся по образцу тотального государства (*totale Staat*). Сегодняшние суверенные государства мало что могут предпринять (а их правительства почти и не рискуют этого делать) ради

противостояния давлению глобализованного капитала, финансов и торговли (в том числе и торговли в области культуры)” [Бауман, 2002: с. LIII].

Силы, на которые государства не могут повлиять, не имеют конкретного адреса, они не привязаны к локальной территории. Это конкуренция, свободная торговля, мировые рынки, финансовые потоки. “Суверенитет следует понимать и изучать как расчлененную власть, расчлененную между целым рядом национальных, региональных и интернациональных акторов и являющуюся — по причине этой имманентной множественности — ограниченной и скованной” [Бек, 2001: с. 73].

Авторы “Империи” настаивают на виртуальном и дискретном характере современного суверенитета, если сравнивать его с монаршими прерогативами. Характерной чертой этого суверенитета является то, что он действует на периферии Империи, где границы подвижны, а идентичности неустойчивы и носят смешанный характер, несмотря на то, что центр и периферия непрерывно меняются местами.

Итак, в результате процесса глобализации моноцентрическая структура власти соперничающих друг с другом государств заменяется полицентрическим распределением власти, в котором конкурируют и кооперируются друг с другом великое множество транснациональных и национально-государственных организаций и предприятий.

Согласно современным теоретикам постмодернизма и неоглобализма, власть нельзя идентифицировать с определенным центром, и тогда образом власти становится *сетевая власть*.

Однако было бы преждевременно утверждать гибель национально-государственного суверенитета, глобализация до основания потрясает самоидентификацию гомогенного, закрытого, замыкающегося на себя национально-государственного пространства, которое в своей политике опирается на казарменную силу постоянной армии, полиции, на исправительные учреждения и монополизацию средств легитимного насилия.

Развитие экономики уходит из-под национально-государственного контроля, в то время как социальные последствия этого процесса — безработица, миграция, нищета — накапливаются в системе национального социального государства.

Глобализация означает денационализацию и возможную трансформацию национального государства в государство транснациональное.

Литература

- Бауман З. Индивидуализированное общество. — М., 2002.
Бауман З. Текущая современность. — М., 2008.
Бек У. Что такое глобализация. — М., 2001.
Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского // Гоббс Т. Сочинения : В 2-х т. — М., 1991. — Т. 2.
Жижек С. Ирак: История про чайник. — М., 2004.
Ролз Дж. Теория справедливости. — Новосибирск, 1995.
Хабермас Ю. Вовлечение другого. — СПб., 2001.
Хабермас Ю. Расколотый Запад. — М., 2008.
Хардт М., Негри А. Империя. — М., 2004.